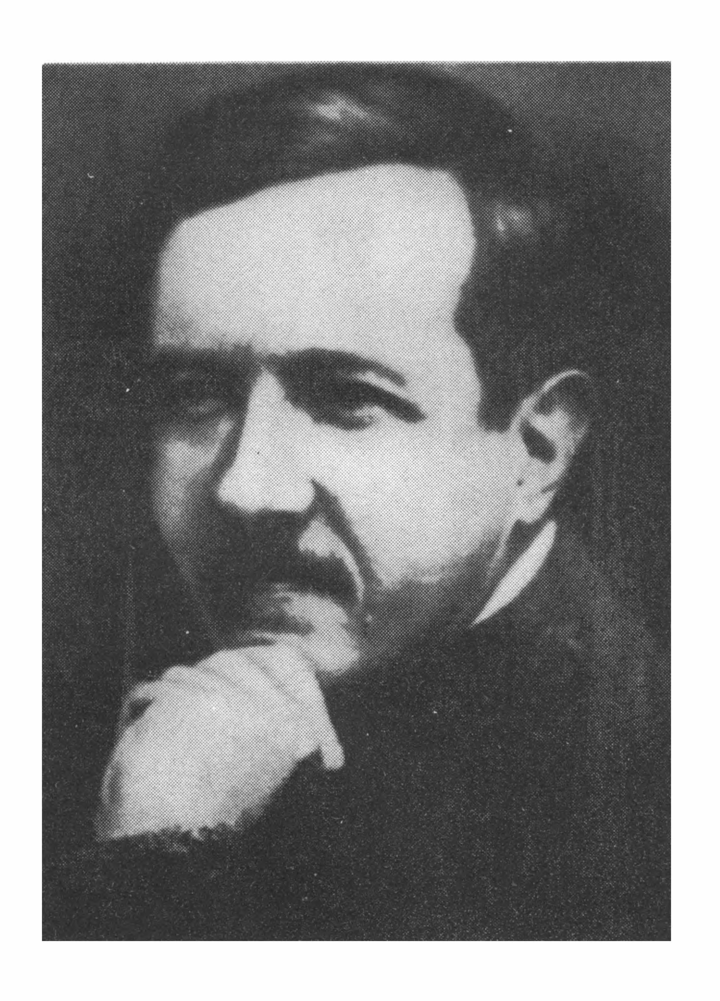
Ив. Кремнев (А. Чаянов)



Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии



Ив. Кремнев (А. Чаянов)

ПУТЕШЕСТВИЕ

МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ
В
СТРАНУ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ

Серебряный век

Нью-Йорк 1981

Jorney of my brother Aleksey to the land of peasant utopia

by A.Chayanov

Introduction by Gleb Struve

Complied — Gregory Poliak

Note by R.E.F.Smith
Translated by V. Polukhina

Cover designed by Vera Semionova

ISBN: 0-940294-00-1
Library of Congress
Catalogue Card # 80-50879

Silver Age Publishing Co.
P.O.Box 384
Rego Park, N.Y. 11374

ГЛЕБ СТРУВЕ

О ЧАЯНОВЕ И ЕГО УТОПИИ

Как это ни странно, имя Алексадра **Васильевича** Чаянова (1888—1939?) как специалиста по сельскохозяйственной экономике и видного теоретика и практика кооперативного движения (еще до революции он изучал постановку кооперации, особенно производительной, в Бельгии и в Италии), автора многочисленных научных трудов, напечатанных и в дореволюционное, и в советское время, сейчас гораздо лучше известно в ученом мире на Западе, чем в Советском Союзе или в русском Зарубежье. Правда, труды Чаянова по аграрному вопросу, по вопросам селекции и животноводства, изданные между 1909 и 1929 гг., хранятся в Государственной библиотеке имени Ленина, где в каталоге их числится больше пятидесяти. Весьма вероятно, что их берут оттуда и читают специалисты. Но о Чаянове, как об экономисте, в СССР сейчас не пишут.

В первом издании Большой Советской Энциклопедии (т. 61, 1934), когда Чаянов стал уже «врагом народа», была о нем статься длиной около 60 строк, подписанная инициалами А. Г. В этой статье он был назван представителем «неонароднического» направления в сельскохозяйственной экономической литературе и одним из лидеров контрреволюционной вредительской организации, известной под названием «Трудовой крестьянской партии». Отношение Чаянова к Октябрьской революции характеризовалось в статье как враждебное, и он назывался «идеологом кулацкой кооперации». В 1930 г. Чаянов судился по делу группы экономистов, в том числе Н. Д. Кондратьева и Л. Н. Юровского, обвинявшихся в создании Трудовой крестьянской партии. Процесс этот был как-то связан и с процессом т. н. Промышленной партии.

Во втором издании БСЭ (1955) статьи о Чаянове уже не было, но в общей статье о РСФСР в т. 37 гово-

рилось, что в 20-х годах советские экономисты «провели работу по разоблачению оживавших в период нэпа буржуазных экономических теорий и концепций» и «были разгромлены контрреволюционные «школы» Кондратьева, Чаянова, меньшевика Рубина и др.» В вышедшей в прошлом году заключительный (восьмой) том «Краткой Литературной Энциклопедии Чаянов попал не как ученый, а как писатель (причем «Путешествие» только упоминается как «опыт социально-фантастической повести», а говорится перимущественно о его других беллетристических произведениях). В статье употреблена ходячая формула: «Был незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». Годом смерти Чаянова указан 1939, а местом — Алма-Ата, где он, по-видимому, жил в ссылке. Солженицын в т. 1 «Архипелага ГУЛага», говоря о процессе Трудовой крестьянской партии, который он относит к 1931 г., пишет, что первоначально намечавшийся «грандиозный» процесс, с привлечением чуть ли не 200000 членов этой партии, свелся к тому, что всем уже якобы сознавшимся в принадлежности к ней, предложили отказаться от сделанных признаний «и вместо этого выволокли судить небольшую группу Кондратьева—Чаянова». По словам Солженицына, Кондратьев был присужден к тюремному изолятору, где он психически заболел и умер. Юровский тоже умер. Чаянов после пяти лет изолятора был выслан в Алма-Ату, а в 1948 г. «посажен вновь». Но подтверждения этому второму аресту из других источников не имеется, и возможно, что это одна из тех фактических неточностей, которые неизбежны в такой работе, как солженицынская. По сведениям немецкого переводчика и биографа Чаянова, последнее письмо от него было получено в 1932 г. А сведения о смерти Чаянова в 1939 г. были как будто подтверждены его вдовой. О самом процессе Крестьянской партии никаких точных сведений, если верить французскому экономисмту Базилю Керблэ, автору краткой биографии Чаянова, не имеется.

Эта биография предпослана восьмитомному зарубежному изданию произведений Чаянова, выпущенному стараниями парижской Ecole Pratique des Hautes Etudes. Это издание, свидетельствующее об интересе западных экономистов к Чаянову, представляет собой перепечатку

на русском языке основных экономических трудов Чаянова, как дореволюционных, так и советского времени. Оно вышло в 1967 г. Вступительная статья размером свыше 60 страниц написана Б. Керблэ по-французски. В издание входит также библиография произведений Чаянова, содержащая 125 названий. Имеются теперь также переводы главнейших трудов Чаянова на немецкий, английский и японский языки.

Из ненаучных произведений Чаянова в издание Керблэ вошла забытая сейчас и игнорируемая в СССР «крестьянская утопия» Чаянова.

Утопия эта была написана и издана в 1920 г., т. е. в очень ранний еще период большевицкого владычества, едва ли не тогда еще, когда шла гражданская война. Она вышла под псевдонимом «Ив. Кремнев» в издании Госиздата и с предисловием крупного большевицкого деятеля В. В. Воровского, скрывшегося тоже под псевдонимом («П. Орловский»). Как известно, Воровский был позднее, когда он стал советским послом в Швейцарии, убит Конради. В своем предисловии, которое он начинает с того, что из него «благосклонный читатель узнает, каковы идеалы наших кооператоров и почему эти идеалы утопичны и реакционны», Воровский пишет, что его наверное спросят: «Если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее?», и отвечает: «А вот зачем: эта утопия — явление естественное, неизбежное и интересное. Россия страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политически и более организованным собратом. Пролетариат старается вести крестьянство за собою к социализму, но эта задача требует большой внутренней работы в крестьянине, и на пути этого внутреннего перерождения крестьянство не раз и долго еще будет проявлять тенденции к проявлению своих особых, узко-крестьянских, по существу реакционных идеалов, будет стараться цепляться за старое, сохранить отмирающее, восстановить ушедшее, приукрашивая его обрывками социалистической идеологии. В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии». Утопия Кремнева, по словам Воровского, имеет то преимущество, что «написана образованным и вдумчивым человеком,

который пишет искренно то, во что верит и чего желает». И нужно, говорит Воровский, «чтобы каждый рабочий и особенно каждый крестьянин, вдумчиво относящийся к переживаемому нами великому перевороту, знал, как представляют себе будущее люди, иначе, чем мы, думающие, и мог бы критически и сознательно отнестись к доводам противника». (Здесь мы видим подход, от которого большевики в дальнейшем все чаще и все больше отказывались.)

В отличие от написанного почти тогда же романа Евгения Замятина «Мы» и от возникшего гораздо позже, под несомненным влиянием Замятина, романа Джорджа Орвелла «1984», повесть Чаянова — не антиутопия, не сатира в форме утопии. Он писал настоящую утопию, изображая не ожидаемое или долженствующее осуществиться будущее, а чаемое им — желаемый им строй новой крестьянской России, которая придет на смену большевицкому режиму. Этой смены он ждет не в таком уж отдаленном будущем. Его новая Россия начало свое имеет уже в 1934 году, когда происходит свержение советского большевицкого режима. При этом, начинаясь в 1920 году, главное действие повести Чаянова происходит, как и у Орвелла, а 1984 г., когда шерой ее, Алексей Кремнев, пробуждается от долгого сна в стране крестьянской утопии. Совпадение дат в повести Чаянова и в романе Орвелла весьма занятно, но, вне всякого сомнения, совершенно случайно. Орвелл об утопии Чаянова почти наверное никогда не слыхал и не мог слыхать: он и романе Замятина узнал впервые от меня, а я должен сознаться, что о «Путешествии» Чаянова совершенно запамятовал, когда писал свою книгу о советской литературе, о чем сейчас могу только со стыдом жалеть.* В случае Орвелла выбор даты был почти наверное продиктован простой перестановкой двух последних цифр: хотя он и начал писать роман несколькими годами раньше, готов он был к изданию в 1948 г. Что касается Чаянова, то

* Мне известна только одна небольшая и грешащая некоторыми неточностями статья о «Путешествии» Чаянова — поф. Нонны Шоу, напечатанная в 1963 г. в Slavic and East European Jornal. Сам я «Путешествия» раньше не читал, но слыхал о нем.

выбор им той же даты был более или менее произволен: он, очевидно, решил показать, чем будет крестьянская Россия ровно через полвека после свержения большевиков. Нет никакого сомнения, однако, что, если бы Орвеллу довелось прочесть утопию Чаянова, отнесенную им к тому же 1984 году, контраст между нарисованными ими картинами не мог бы не позабавить его. С другой стороны, ему несомненно понравились бы звучащие там и сям у Чаянова нотки кропоткинской утопии.

К сожалению,Чаянову, по-видимому, не удалось свою утопию закончить, и она от этого много теряет — и как утопия, и с чисто литературной точки зрения. Мы знаем только первую часть, которая носит подзаголовок «Появление». Есть основания думать, что вторая часть просто не была написана, хотя и не исключена возможность, что большевики одумались, и эта вторая часть была запрещена или конфискована. Правда, редко бывает, чтобы что-то тайное не стало хоть в какой-то мере явным, а на существоание второй части нет даже никаких намеков.

О литературной и других сторонах утопии Чаянова пусть читатели судят сами.

Нет сомнения, что они увидят в ней и наивность, и некоторые другие недостатки. Но пусть, подходя к ней, они не забывают, что она написана более 50 лет тому назад.

«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» не единственное беллетристическое произведение Чаянова. Им были написаны также пять стилизованных романтических повестей, действие которых происходит в конце XVIII или начале XIX века. Все они носят замысловатые названия, часто двойные. Вот они, в хронологическом порядке издания: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь Московского архитектора М.»; «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»; «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека»; «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям»; «Юлия, или Встречм под Новодевичем (sic)».

Все эти повести вышли в 20-х годах и, кроме одной, были изданы в Москве («Венецианское зеркало» появилось в Берлине в издательстве «Геликон» в 1923 г.; если не ошибаюсь, сам Чаянов в то время жил в Берлине). Три из пяти повестей были помечены 1-м, 5-м и 7-м «годом республики». Последней, уже в 1928 г., вышла «Юлия». Автором значился «ботаник Х.» (в двух случаях он был назван «московским ботаником»). Почти все эти повести стали библиографической редкостью, и этим, вероятно, объясняется то, что в библиографии Керблэ данные о них приведены с ошибками.

За последние годы в Советском Союзе делаются попытки воскресить Чаянова как автора этих повестей. В воронежском журнале «Подъем» в 1968 г. была напечатана статья о них О. Ласунского под названием «Чаяновские издания». Она начиналась так: «Далеко не каждый книголюб, сколь бы он ни был искушен в библиофильских тонкостях, сможет вразумительно растолковать, что такое «чаяновские издания». А зеленая молодежь, едва лишь входящая во вкус книжной премудрости, и вовсе ничего не знает о них. И только поседелые московские ветераны библиофильской гвардии при упоминании о «чаяновских изданиях» понимающе кивнут головой и с величайшей аккуратностью извлекут откуда-нибудь из заповедного тайничка библиотеки одну или несколько книжечек, предосторожности ради упрятанных в обертку из полупрозрачной, матовой бумаги.По этим манипуляциям нетрудно заключить, что книжечки составляют для их владельцев предмет особой гордости и что, посули последним золотые горы за каждую из этих книжечек, в ответ получишь, по меньшей мере, презрительный взгляд. И, напротив, книголюб готов на любую жертву, лишь бы стать обладателем полного комплекта чаяновских изданий. Хотя сейчас это — задача, кажется, почти непосильная для библиофилов».

В статье Ласунского «Путешествие» Чаянова даже не упоминается, хотя говорится о нем и как об экономисте. Зато мы узнаем от Ласунского, что еще в 1921 г. Чаянов выпустил «сборничек» стихов «Лелина

книжка», а также, что «ботанику Х.» принадлежала вышедшая в 1921 г. пьеса «Обманщики».

Незадолго до статьи Ласунского вышла книжка Бориса Смиренского «Перо и маска» (1967), в которой Чаянову уделена главка «Подражательные повести» (стр. 66—68). Насколько мне известно, Л. Н. Чертковым подготовлена специальная работа о романтических повестях Чаянова.

Чаянов был человеком очень многогранным, с самыми разнообразными интересами. Большой книголюб, он играл видную роль в Обществе друзей русской книги и сотрудничал в журнале «Среди коллекционеров». Очень интересуясь искусством, он написал книжку «Старая западная гравюра». Это разнообразие интересов сказалось и в его утопии: большую роль в жизни его людей 1984 года играет искусство. В «Путешествии» интересно вообще необычное сочетание научного прогресса (например, управления погодой), а также прогреса экономического, с архаикой, с возрождением старины и с деурбанизацией.

Чаянов написал также историю знаменитой Сельскохозяйственной академии в Петровско-Разумовском (впоследствии известной как «Тимирязевская»), в которой он был профессором с 1913 года.

Отметим еще одну любопытную особенность «Путешествия»: в виде приложения (точнее: вложения) к ней дан был номер газеты «Зодий» от 5 сентября 1984 г., который, просыпаясь, находит Алексей Кремнев, и из которого он узнает, что перенесен на 60 с лишним лет вперед. Это двухстраничное вложение не сохранилось, видимо, почти ни в одном из известных сейчас экземпляров книги. Помимо информации, небольшой библиографии, объявление о театральных спектаклях и нескольких небольших заметок (все это дает представление о жизни в чаяновской идиллической стране), мы находим в номере статью Алексея Минина, гостем которого оказывается Алексей Кремнев (он же «мистер Чарли»), под названием «Свобода власти или свобода от власти» и некролог «великого социолога» Арсения Николаевича Брагина. В статье Минина подчеркивается та сторона чаяновской утопии, в которой можно видеть несомненное влияние анархических идей

Кропоткина. В некрологе Брагина говорится о том, что за тридцать лет до того — т. е. в 1954 году — он выпустил толстый том под названием «Скорость социальных процессов и методы их измерения», а также, что уже тогда имя его пользовалось известностью, «как пламенного оратора крестьянской группы ЦИКа и исключительно удачливого и ловкого руководителя всякого рода политических кампаний». Упоминаются и другие печатные труды Брагина, причем названия некоторых напоминают названия трудов самого Чаянова, но ни в одном случае не совпадают с ними полностью. Трудно сказать, кого имел в виду Чаянов под именем Брагина. В каком возрасте скончался Брагин, не сказано, но говорится, что в последние двенадцать лет он перестал «быть деятельным» и жил, созерцая мир пока не угас, «как угасает до конца догоревшая свеча». Хоронить его должны были в Пантеоне русской науки.

Название газеты — «Зодий» — означает «знак зодиака» (от уменьшительной формы греческого слова, означающего «животное»). Тут следует, может быть, отметить интерес, который, по-видимому, проявлял Чаянов к антропософии, а может быть, и к оккультным наукам. Нашел себе отражение в газете и интерес Чаянова к искусству.

В 1976 г. чаяновское «Путешествие» вышло во французском переводе Мишеля Нике (Niqueux) в женевском издательстве L'Age d'Homme и одновременно или почти одновременно по-английски в переводе профессора Бирмингамского университета Р. Смита (R. E. F. Smith), экономиста по специальности. Французский перевод сопровожден был интересным послесловием переводчика. Английский перевод был напечатан в специальном номере «Журнала Крестьяноведения» (The Journal of Peasant Studies, т. 4, № 1, октябрь 1976). Этот специальный выпуск назывался «Русский крестьянин 1920 и 1984 гг.» Профессор Смит, который был редактором этого специального выпуска, включил также статью М. Горького о русском крестьянстве и выдержки из статьи А. М. Большакова о русской деревне в 1917—1924 гг. «Путешествие» Чаянова, напечатанное полностью, т. е. с включением газеты «Зодий», он снабдил ценной вступи-

тельной статьей, комментарием и библиографией. В отличие от меня, он склонен считать, что Джордж Орвелл мог откуда-то слышать об утопии Чаянова и об избранном им 1984 годе, как годе, в котором происходит ее действие. Мне это кажется очень маловероятным.

В 1979 г. интересные личные воспоминания о Чаянове напечатал А. В. Бахрах, который был хорошо знаком с ним в Берлине в начале 1920-х годов. Они были сначала напечатаны под названием «Обреченный» в ньюйоркском «Новом Русском Слове» и в парижской «Русской Мысли» (25 октября 1979 г.), а потом вошли в книгу Бахраха «По памяти, по записям. Литературные портреты».

Библиография произведений А.В.Чаянова и литература о нем

Лелина книжка. Стихи.
Москва, 1912. Типография «Печатное слово», 31 стр.

Московские собрания картин сто лет назад.
Москва, 1917 г. Издание Горной типографии. 19 стр.

История парикмахерской куклы или Последняя любовь московского архитектора М.Романич, повесть написанная Ботаником Х и иллюстрированная антропологом А.
М. 1918 г. 105 стр.

Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Часть I. Появление. Предисловие Орловского.
Москва, 1920 г. Государственное издательство, 63 стр.

Обманщики. Трагедия в трех актах и девяти сценах.
Сергиев, 1921 г. Типография отдела народного образования Сергиевского совета, 31 стр.

Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей. Романтическая повесть, написанная ботаником Х., иллюстрированная фитопатологом У*. Москва. V год республики.
Москва, 1921 г. Образцовая типография МСНХ, 64 стр.

Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека.
Берлин, 1923 г. Изд. «Геликон», 46 стр.

Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фитопатологом У. Москва, VII год республики.
Москва, 1924 г. Изд. автора, 106 стр.

Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем. Путеводитель по Темирязевской сельскохозяйственной Академии.
Москва, 1925. Изд. «Новая деревня», 86 стр.

Старая западная гравюра. Краткое руководство для музейной работы.
Москва, 1926. Изд. М и С Сабашниковых, 81 стр.

Юлия, или Встречи под Новодевичьим. Романтическая повесть, написанная московским ботаником Х. Москва, 1928 г. Гравюры по дереву оттиснуты с оригинальных досок А.Кравченко в его мастерской.
Москва, 1928. Изд. автора.

Возможное будущее сельского хозяйства в кн.: «Жизнь и техника будущего. Социальные и научно-технические утопиии.
Москва, 1928. Изд. «Московский рабочий».

Oeuvres choisies de A.V.Cajanov, vol. 1—8.
S.R.Publishers Limited. Johnson Reprint Corp. Mounton Co, 1967.

Смиренский, Б. Подражательные повести, в его кн.: *Перо и маска, Москва, 1967 г.*

Ласунский, О. Чаяновские издания. «Подъем» №3.
Воронеж, 1968 г.

Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг. Тои I, стр. 61-62.
YMCA Press, Paris, 1974

Струве, Глеб. О А.В.Чаянове и его утопии.
НРС, 31 марта 1976 г.

Бахрах, Ал. Обреченный.
НРС, 15 апреля 1979 года.

Белозерская-Булгакова, Л. О, мед воспоминаний.
«Ардис», 1980 г., стр. 122-124

Первушин, Н. Михаил Булгаков и Чаянов.
НРС, 6 июля 1980 г.

Nonna D. Show. The Only Soviet Literary Peasant Utopia. *The Slavic and East European Journal, vol. VII, №3 (1963), pp. 279-283*

B.Kerblay. A.V.Chayanov: Life, Career, Works. In book: The Theory of Peasant Economy. *Illinois, 1966.*

The Journal of Peasant Studies, vol. 4, №1, *October 1976.*

ПУТЕШЕСТВИЕ
МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ



В СТРАНУ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым

Было уже далеко за полночь, когда обладатель трудовой книжки № 37413, некогда называющийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.

Туманная дымка осенней ночи застилала заснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях перекрещивающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара, и сказочной громадой белели во мраке Китайгородские стены.

Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с го-

рящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антиквариата — там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Главбум».

Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул к Иверским, прошел мимо первого дома Советов и потонул в сумраке московских переулков.

А в голове болезненно горели слова, фразы, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея:

«Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю!»

«Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало».

«Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма».

Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ

повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего

Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло.

Сквозь стекла большого окна был виден город, внизу в туманной дымке ночи молочными светлыми пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в черных массивах домов тускло желтели освещенные еще окна.

«Итак, свершилось, — подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву. — Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания — официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры-утописты?»

И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.

Однако для него самого, старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то

не все ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии еще затемняла социалистическое сознание.

Он прошелся по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплетам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с кожаных корешков солидных переплетов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.

Пробило два. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.

Хорошие, благородные и детски-наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.

Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, небанальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.

Кремнев в волнении прочел давно забытую им пророческую страницу:

«Слабые, хилые, глупые поколения, — писал Герцен, — протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвесной нам революцией».

— Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? — думалось ему. — Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий.

Он улыбнулся с сожалением. О, вы, Милюковы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знаменах?! Что, кроме мракобесия капиталистической реакции, имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен... мы живем далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?

Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и пачка фолинатов in octo и in folio упала с полки.

Кремнев вздрогнул.

В комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших стенных часов завертелись все быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались кверху, вихрями бумаги наполняли комнату. Стены как-то исказились и дрожали.

У Кремнева кружилась голова, и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в сто-

ловую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Ее не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натыкался на незнакомые предметы. Голова кружилась и сознание мутнело, как во время морской болезни.

Истощенный усилиями, Алексей опустился на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

изображающая появление Кремнева в стране утопии и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия

Серебристый звонок разбудил Кремнева.

Allo, да, это я, — послышался женский голос. — Да, приехал... очевидно, сегодня ночью... Еще спит... Очень устал, заснул, не раздеваясь... Хорошо. Я позвоню.

Кремнев приподнялся на диване и протер в изумлении глаза.

Он лежал в большой желтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелено-желтой обивкой, желтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались легкие женские шаги. Скрипнула дверь и все смолкло.

Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчет в случившемся, и быстро подошел к окну.

На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.

Внизу расстилался город... Несомненно, это была Москва.

Налево высилась громада Кремлевских башен, направо краснела Сухаревка, а там, вдали, гордо возносились Кадаши.

Вид знакомый уже много, много лет.

Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своем месте дома Нирензее... Зато все кругом утопало в садах... Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью.

Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображенная и просветленная.

— Неужели я сделался героем утопического романа? — воскликнул Кремнев. — Признаюсь, довольно глупое положение!

Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом, рассчитывая найти какой-нибудь отправной пункт к познанию нового окружающего его мира.

— Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося? Дивная анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?

Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и куль-

туры и жили сообща. Но этого было еще слишком мало, чтобы понять сущность окружающего.

Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.

В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был сильно русифицированный Вавилон.

Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекшая его внимание.

С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брегеля старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и несомненно сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.

Кремнев подошел к большому рабочему столу, сделанному из чего-то вроде плотной пробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практики социализма» В. Шера, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мему-

аров Е. Кусковой, великолепное издание «Медного Всадника», брошюра «О трансформации В-энергии» и, наконец, его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.

Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.

Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листка.

«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры», «Печальной памяти государственный коллективизм»... «Это было во времена капиталистические, т. е. почти во времена доисторические»... «Англо-французская, изолированная система» — все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.

Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом послышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.

— Ах, вы уже встали... — весело сказала она. Я проспала вчера ваш приезд.

Звонок повторился.

— Простите, это, должно быть, брат беспокоится о вас... Allo... Да, он уже встал... не знаю, право... сейчас спрошу... Вы говорите по-русски, господин... Чарли... Мен... если не ошибаюсь?»

— Конечно, конечно, — неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.

— Говорит, и даже с московским акцентом... хорошо, я передам трубку.

Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминающее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всем, и, кладя аппарат, сознал вполне, вполне отчетливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.

Девушки уже не было в комнате. С решимостью отчаяния Алексей бросился к столу, рассчитывая в бумагах и пачках телеграмм найти хотя бы какой-нибудь просвет окружающей тайны.

Удача сопутствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание последнего посетить Россию и ознакомиться с ее инженерными установками в области земледелия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

продолжающая третью и отделенная от нее только для того, чтобы главы не были очень длинными

Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака.

Алексей был очарован этой утопической женщиной, ее почти классической головой, идеально посаженной на крепкой, длинной шее, широкими плечами и полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием ворот рубашки.

Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживленным разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлек разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи.

Молодая девушка, которую звали Параскевой, с жаром юношеского увлечения повествовала о своих любимых мастерах: старом Брегеле, Ван Гоге, старике Рыбникове и великолепном Ладонове. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского или дьявольского, но превышающего силы человеческие.

Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с творцом вселенной, ценила в картине силу волшебства, прометееву искру, дающую новую сущность, и в сущности была близка к реализму старых мастеров Фландрии.

Из ее слов Кремнев понял, что после живописи эпохи великой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, наступил период барокко-футуризма, футуризма укрощенного и сладостного.

Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства, в моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты, и залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Ботичелли и Краннаха почти не находили себе посетителей. Однако, подчиняясь кругу времен и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески эпохи варваринского заговора, бурной полосой прошла эпоха натюрморта и голубой гаммы, затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века и наступило царство реализма с Питером Брегелем как кумиром.

Два часа прошли незаметно, и Алексей не знал, слушать ли ему глубокое контральто своей собеседницы или же рассматривать тяжелые косы, заплетенные на ее голове.

Широко открытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.

ГЛАВА ПЯТАЯ

чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года

— Я повезу вас через весь город, — сказал брат Параскевы, Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль, — и вы увидите нашу теперешнюю Москву.

Автомобиль двинулся.

Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки.

Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVII веках.

За густыми кронами желтеющих кленов мелькнули купола Барышей, расступившиеся липы открыли пышные контуры растреллиевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Словом, они ехали по утопической Покровке.

— Сколько жителей в вашей Москве? — спросил Кремнев своего спутника.

— На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города в объеме территории эпохи великой революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй,

сто тысяч человек, но лет сорок назад, непосредственно после великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более тридцати тысяч. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы можем получить цифру, превышающую пять миллионов.

Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже; архитектурные массивы сдвигались все теснее и теснее, стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов сплошным потоком стремились к центру города, по широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие черного цвета; яркие голубые, красные, синие, желтые, почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собою нечто вроде сарафанов с кринолином, но все же являющими собою достаточное разнообразие форм.

В толпе сновали газетчики, продавщицы цветов, сбитня и сигар. Над головою толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжей, увешанных флажками.

Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом: «Решительная!! Ваня вологжанин против Тер-Маркелянца! Два жоха и одна ничка!»

В толпе оживленно спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плоцке и ничке.

Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал:

— Национальная игра! Сегодня последний день международного состязания на звание первого игрока в бабки. Тифлисский чемпион по игре в козьи кочи оспаривает бабошное первенство у вологжанина... Да только Ваня себя в обиду не даст, и к вечеру Театральная площадь в пятый раз увидит его победителем.

Автомобиль все замедлял свой бег, миновал Лубянскую площадь, сохранившую и Китайгородскую стену, и Виталиевых мальчиков, и спускался мимо Первопечатника вниз. Театральная площадь была залита морем голов, фейерверком ярких, горящих на солнце флагов, многоярусными трибунами, поднимавшимися почти до крыши Большого театра, и ревом толпы. Игра в бабки была в полном разгаре.

Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. Метрополя не было. На его месте был разбит сквер, и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица.

Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков.

Автомобиль круто повернул налево, и они пронеслись почти у подножия монумента.

Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур — Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу около наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не мог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки:

— Памятник деятелям великой революции.

— Да послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовывали в своей жизни таких мирных групп!

— Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница! Хоп! черт подери, чуть песика не задавил!..

Автомобиль шарахнулся налево, дама с собачкой направо; поворот, машина ныряет в какую-то подземную трубу, несколько мгновений несется с бешеной скоростью под землей в ярко освещенном туннеле, вылетает на берег Москва-реки и останавливается около террасы, уставленной столиками.

— Давайте на дорогу коку с соком выпьем, — сказал Минин, вылезая из авто.

Кремнев оглянулся кругом, перед ним высилась громада моста, настолько точно воспроизводящего Каменный мост XVII века, что он казался сошедшим с гравюры Пикара. А сзади в полном великолепии, горя золотыми куполами, высился Кремль, со всех сторон охваченный золотом осеннего леса.

Половой в традиционных белых брюках и рубашке принес какой-то напиток, напоминаю-

щий гоголь-моголь, смешанный с цукатами, и наши спутники некоторое время молча созерцали.

— Простите, — начал Кремнев после некоторого молчания. — Мне как иностранцу непонятна организация вашего города и я не совсем представляю себе историю его расселения.

— Первоначально на переустройство Москвы повлияли причины политического свойства, — ответил его спутник. — В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на Съезде Советов известный, конечно, и у вас в Вашингтоне декрет об уничтожении городов свыше двадцати тысяч жителей.

Конечно, труднее всего этот декрет было выполнить в отношении к Москве, насчитывающей в тридцатые годы свыше четырех миллионов населения. Но упрямое упорство вождей и техническая мощь инженерного корпуса позволили справиться с этой задачей в течение десяти лет.

Железнодорожные мастерские и товарные станции были отодвинуты на линию пятой окружной дороги, железнодорожники двадцати двух радиальных линий и семьи их были расселены вдоль по линии не ближе того же пятого пояса, т. е. станций Раменского, Кубинки, Клина и прочих. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы.

К тысяча девятьсот тридцать седьмому году улицы Москвы начали пустеть, после заговора Варварина работы естественно усилились, инженерный корпус приступил к планировке новой Москвы, сотнями уничтожались московские небоскребы, нередко прибегали к динамиту. Отец мой помнит, как в тысяча девятьсот тридцать девятом году самые смелые из наших вождей, бродя по городу развалин, готовы были сами себя признать вандалами, настолько уничтожающую картину разрушения являла собой Москва. Однако, перед разрушителями лежали чертежи Желтовского, и упорня работа продолжалась. Для успокоения жителей и Европы, в тысяча девятьсот сороковом году набело закончили один сектор, который поразил и успокоил умы, а в тысяча девятьсот сорок четвертом все приняло теперешний вид.

Минин вынул из кармана небольшой план города и развернул его.

— Теперь, однако, крестьянский режим настолько окреп, что этот священный для нас декрет уже не соблюдается с прежней пуританской строгостью. Население Москвы нарастает настолько сильно, что наши муниципалы для соблюдения буквы закона считают за Москву только территорию древнего Белого города, т. е. черту бульваров дореволюционной эпохи.

Кремнев, внимательно рассматривавший карту, поднял глаза.

— Простите, — сказал он, — это какая-то софистика, вот то, что кругом Белого города, ведь это тоже почти что город. Да и вообще я не понимаю, как могла безболезненно

пройти ваша аграризация страны и какую жалкую роль могут играть в народном хозяйстве ваши города-пигмеи.

— Мне очень трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Видите ли, раньше город был самодовлеющ, деревня была не более, как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения узла социальных связей. Каждый из наших городов — это просто место сборища, центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и некоторых дел. Пункт, а не социальное существо.

Минин поднял стакан, залпом осушил его и продолжал:

— Возьмите Москву, на сто тысяч жителей в ней гостиниц на четыре миллиона, в уездных городах на десять тысяч — гостиниц на сто тысяч, и они почти не пустуют. Пути сообщения таковы, что каждый крестьянин, затратив час или полтора, может быть в своем городе, и бывает в нем часто.

— Однако пора и в путь. Нам нужно сделать изрядный крюк и заехать в Архангельское за Катериной.

Автомобиль снова двинулся в путь, свернув к Пречистенскому бульвару. Кремнев оглянулся с изумлением: вместо золотого и блестящего, как тульский самовар, Храма Христа Спасителя, увидел титанические развалины, увитые плющом и, очевидно, тщательно поддерживаемые.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

в которой читатель убедится, что в Архангельском за 80 лет не разучились делать ванильные ватрушки к чаю

Старинный памятник Пушкину возвышался среди разросшихся лип Тверского бульвара.

Воздвигнутый на том же месте, где некогда Наполеоном были повешены мнимые поджигатели Москвы, он был немым свидетелем грозных событий истории российской.

Помнил баррикады 1905 года, ночные митинги и большевистские пушки 1917, траншеи крестьянской гвардии 1932 и варваринские бомбометы 1937, и продолжал стоять в той же спокойной сосредоточенности, ожидая дальнейших.

Один только раз он пытался вмешаться в бушующую стихию политических страстей и напомнил собравшимся у его ног свою сказку о рыбаке и рыбке, но его не послушались...

Автомобиль свернул в Большие Аллеи запада. Здесь когда-то тянулись линии Тверских-Ямских, тихих и запыленных улиц. Роскошные липы Западного парка сменили их однообразные строения и, как остров среди волнующегося зеленого моря, виднелись среди зарослей купола собора и белые стены Шанявского университета.

Тысячи автомобилей скользили по асфальтам большого Западного пути. Газетчики и продавщицы цветов сновали в пестрой толпе оживленных аллей, сверкали желтые тенты кофеен, в застывших облаках чернели сотни больших и малых точек аэропилей и грузные пассажирские аэролеты поднимались кверху, отправляясь в путь с западного аэродрома.

Автомобиль промчался мимо аллей Петровского парка, залитого шумом детских голосов, скользнул мимо оранжерей Серебряного бора, круто повернул налево и, как сорвавшаяся с тетивы стрела, ринулся по Звенигородскому шоссе.

Город как будто бы и не кончался. Направо и налево тянулись такие же прекрасные аллеи, белели двухэтажные домики, иногда целые архитектурные группы, и только вместо цветов между стенами тутовых деревьев и яблонь ложились полосы огорода, тучные пастбища и сжатые полосы хлебов.

— Однако, — обернулся Кремнев к своему спутнику, — ваш декрет об уничтожении городских поселений, очевидно, сохранился только на бумаге. Москеовские пригороды протянулись далеко за Всехсвятское.

— Простите, мистер Чарли, но это уже не город, это типичная русская деревня севера, — и он рассказал удивленному Кремневу, что при той плотности населения, которого достигло крестьянство Московской губернии, деревня приняла необычный для сельских поселений вид. Вся страна образует теперь кругом Москвы на сотни верст сплошное сельскохозяйственное поселение, прерываемое квад-

ратами общественных лесов, полосами кооперативных выгонов и огромными климатическими парками.

— В районах хуторского расселения, где семейный надел составляет три-четыре десятины, крестьянские дома на протяжении многих десятков верст стоят почти рядом друг с другом, и только распространенные теперь плотные кулисы тутовых или фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого. Да в сущности теперь пора бросить старомодное деление на город и деревню, ибо мы имеем только более сгущенный или более разреженный тип поселения того же самого земледельческого населения.

— Вы видите группы зданий, — Минин показал вглубь налево, — несколько выделяющихся по своим размерам. Это — «городища», как принято их теперь называть. Местная школа, библиотека, зал для спектаклей и танцев и прочие общественные учреждения. Маленький социальный узел. Теперешние города такие же социальные узлы той же сельской жизни, только больших размеров. А вот мы и приехали...

Лес расступился и вдали показались стройные стены Архангельского дворца.

Крутой поворот, и авто, шумя по гравию шоссе, миновал широкие ворота, увенчанные трубящим архангелом, и остановился около оранжерейного корпуса, спугнув целую стаю молодых девушек, игравших в серсо. Белые, розовые, голубые платья окружили приехавших, и девушка лет семнадцати с криком радости бросилась в объятия Алексеева спутника.

— Мистер Чарли Мен, а это Катерина, сестра!

Через минуту на лужайке архангельского парка, рядом с бюстоколоннами античных философов, гости были усажены у шумящего самовара за стол, на льняных скатертях которого высились горы румяных ватрушек.

Алексей был закормлен ватрушками, обольстительными, пышными, ванильными ватрушками и душистым чаем, засыпан цветами и вопросами об американских нравах и обычаях и о том, умеют ли в Америке писать стихи, и, боясь попасть впросак, сам перешел в наступление, задавая собеседницам по два вопроса на каждый получаемый от них.

Уплетая ватрушку за ватрушкой, он узнал, что Архангельское принадлежало «Братству святого Флора и Лавра», своеобразному светскому монастырю, братья коего вербовались среди талантливых юношей и девушек, выдвинувшихся в искусствах и науках.

В анфиладе комнат старого дворца, липовых аллеях парка, освещенных былыми посещениями Пушкина и блистательной, галантной жизнью Бориса Николаевича Юсупова, с его вольтерьянством и колоссальной библиотекой, посвященной французской революции и кулинарии, — шумела юная толпа носителей Прометеева огня творчества, делившая труды с радостями жизни.

Братство владело двумя десятками огромных и чудесных имений, разбросанных по России и Азии, снабженных библиотеками, лабораториями, картинными галереями и, насколько можно было понять, являлось одной из наиболее мощных творческих сил страны. Алексея поразили строгие правила устава, почти монастырского по типу, и та сияющая, звенящая

радость, которая пропитывала все кругом: и деревья, и статуи, и лица хозяев, и даже волокна осенних паутин, реющих под солнцем.

Но все это было ничтожно в сравнении с глубоким взором и певучим голосом Параскевиной сестры. Положительно утопические женщины сводили Алексея с ума.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья — и всегда семьей останется

— Скорее, скорее, друзья мои, — торопил спутников Никифор Алексеевич, укладывая Катеринины баулы и саки в автомобиль. — На девять часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час метеорофоры поднимут целые вихри.

Хотя Кремневу, услыхав эту тираду, полагалось бы удивиться и расспрашивать, он этого не сделал, так как всецело был увлечен укутыванием в шарфы Параскевиной сестры.

Зато когда машина бесшумно неслась по полотну Ново-Иерусалимского шоссе и по обе стороны его мелькали поля с тысячами трудящихся на них крестьян, спешивших до дождя увезти последние скирды неубранного еще овса, он не удержался и спросил своего спутника:

— За коим чертом вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющая погодой, бессильна механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?

— Вот он, американец-то, где оказался! — воскликнул Минин. — Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодоро-

дия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины получаются чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь ручным, как теперь. И это не блажь, а необходимость при нашей плотности населения. Так-то!

Он замолчал и усилил скорость. Ветер свистал, и шарфы Катерины развевались над автомобилем. Алексей смотрел на ее ресницы, на губы, просвечивающие сквозь складки шарфа, и она казалась ему бесконечно знакомой... А ласковая улыбка наполняла радостью и уютом его душу.

Темнело, и на небе громоздились тучи, когда автомобиль подъехал к домикам, поместившимся на крутосклонах реки Ламы.

Обширная семья Мининых занимала несколько маленьких домиков, построенных в простых формах XVI века и обнесенных тыном, придававшим усадьбе вид древнего городка. Лай собак и гул голосов встретил подъехавших у ворот. Какой-то дюжий парень схватил в охапку Катерину, две девочки и мальчик набросились на свертки с припасами из Москвы, девица гимназического возраста требовала какого-то письма, а седой старик, оказавшийся главой семьи, Алексеем Александровичем Мининым, взял своего тезку под свое покровительство и пошел отводить ему помещение, удивляясь чистоте его речи и покрою американского платья, живо напомнившему ему моды его глубокого детства.

Минут через десять, умытый и причесанный, и чувствующий смущение всем своим существом, Алексей входил в столовую. За

общим столом, усыпанным цветами, жарко спорили о чем-то, и стоило ему показаться на пороге, как он немедленно был выбран в судьи, как человек «совершенно беспристрастный». На его компетентное решение были предоставлены два плоских блюда, одно декорированное раками и черным виноградом, и другое, представляющее композицию из лимона, красного винограда и граненого бокала с вином. Две конкурентки, Мег и Наташа, со всей звонкостью своих пятнадцатилетних голосов требовали решить, чей натюрморт «голландее».

С трудом выйдя из затруднения и признав одну композицию забытым оригиналом Якова Путера, а другую плагиатом с Вилема Кольфа, Алексей получил в награду аплодисменты и огромный кусок сливочного торта, изобретенного, как ему сообщили, самим профессором кулинарии — отсутствующей Параскевой.

Маленький Антошка пытался узнать у американца, правда ли, что в Гудзоновом заливе клюют на удочку кашалоты, но тотчас же был отправлен спать. Пожилая дама, наливая третий стакан чая, осведомилась, есть ли у Алексея дети, и недоумевала, как могла его жена отпустить лететь через Атлантический океан. Весьма опечаленная уверением Алексея в отсутствии у него всяких признаков супруги, она хотела продолжать свои расспросы дальше, но чьи-то руки закрыли его глаза платком, и он понял, скорее почувствовал, сзади себя присутствие Катерины.

— В жмурки, в жмурки, — кричала детвора, увлекая его в залу, и ему пришлось немало

побегать, пока Катерина не попалась в его объятия.

Появившийся Алексей Александрович восстановил порядок и, освободив Кремнева из плена и усадив около камина, произнес:

— Сегодня с дороги я не хочу затруднять вас деловыми разговорами. Но все же скажите, каково первое впечатление изолированного американца от наших палестин?

Кремнев рассыпался в уверении своего удивления и восхищения, но звуки клавесина прервали их беседу. Катерина усадила своего брата аккомпанировать и пела романс Александрова на слова Державина:

«Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая,
То льдом, то искрами манят!»

Затем последовал «Павлин», дуэт «Новоселье молодых», и Кремнев чувствовал, что поет она для него, что никому не хочет она отдавать его внимания.

За окном густыми потоками лил «генеральный» дождь, назначенный с 9 по 2 ночи. Комната стала еще уютнее, покой семейной тишины согревался догорающим камином. Тетя Василиса гадала Наташе на картах, а молодежь строила планы, как лучше показать американцу «Ярополец» и «Белую Колпь». Однако Алексей Александрович категорически заявил, что он абонирует мистера Чарли на все утро и что всем пора спать.

Кремнев выпросил у Мег почитать на сон грядущий учебник всеобщей истории и стал перебираться под руководством Катерины и адским дождем в отведенный ему флигель.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

историческая

Катерина, устроив Кремневу постель и положив на стол горсть пряников и фиников, посмотрела на него пристально и вдруг спросила:

— А у вас в Америке все такие, как Вы?

Смущенный Алексей опешил, а не менее смущенная девица убежала, хлопнув дверью, и в отпотелых стеклах окна мелькнул огонек ее удаляющегося фонаря.

Кремнев остался один.

Он долго не мог прийти в себя от впечатлений чудовищного дня, в котором, однако, все виденные чудеса подавлялись чарующим образом Параскевиной сестры.

Очнувшись, Кремнев разделся и раскрыл исторический учебник.

Вначале он ничего не мог понять: пространно излагалась история Яропольской волости, затем история Волоколамска, Московской губернии, и только в конце книги страницы содержали в себе повествование о русской и мировой истории.

С возрастающим волнением глотал Кремнев страницу за страницей, закусывая исторические события пряниками Катерины.

Прочитав изложение событий своей эпохи, Кремнев узнал, что мировое единство социалистической системы держалось недолго и цен-

тробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие. Идея военного реванша не могла быть вытравлена из германской души никакими догматами социализма, и по пустячному поводу раздела угля Саарского бассейна немецкие профессиональные союзы принудили своего президента Радека мобилизовать немецких металлистов и углекопов, и занять Саарский бассейн вооруженной силой, впредь до разрешения вопроса Съездом Мирсовнархоза.

Европа снова распалась на составные части. Постройка мирового единства рухнула, и началась новая кровопролитная война, во время которой во Франции старику Эрве удалось провести социальный переворот и установить олигархию ответственных советских работников. После шести месяцев кровопролития, совместными усилиями Америки и Скандинавского объединения, мир был восстановлен, но ценою разделения мира на пять замкнутых народнохозяйственных систем — немецкой, англо-французской, америко-австралийской, японо-китайской и русской. Каждая изолированная система получила различные куски территории во всех климатах, достаточные для законченного построения народнохозяйственной жизни, и в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажила весьма различной по укладу политической и хозяйственной жизнью.

В Англо-Франции весьма скоро олигархия советских служащих выродилась в капиталистический режим. Америка, вернувшись к парламентаризму, в некоторой части денационализировала свое производство, сохраняя, однако, в основе государственное хозяйство в земле-

делии. Японо-Китай быстро вернулся политически к монархизму, сохранив своеобразные формы социализма в народном хозяйстве, одна только Германия в полной неприкосновенности донесла режим двадцатых годов.

История же России представлялась в следующем виде. Свято храня советский строй, она не могла до конца национализировать земледелие.

Крестьянство, представлявшее собой огромный социальный массив, туго поддавалось коммунизации, и через пять-шесть лет после прекращения гражданской войны, крестьянские группы стали получать внушительное влияние как в местных советах, так равно и в ВЦИК.

Их сила значительно ослаблялась соглашательской политикой пяти эсеровских партий, которые не раз ослабляли влияние чисто классовых крестьянских объединений.

В течение десяти лет на съездах советов ни одно течение не имело устойчивого большинства, и власть фактически принадлежала двум коммунистическим фракциям, всегда умеющим в критические моменты сговориться и бросить рабочие массы на внушительные уличные демонстрации.

Однако конфликт, возникший между ними по поводу декрета о принудительном введении методов «евгеники», создал положение, при котором правые коммунисты остались победителями ценою установления коалиционного правительства и видоизменения конституции уравнением силы квоты крестьян и горожан. Перевыборы советов дали новый съезд советов с абсолютным перевесом чисто классовых крестьянских группировок, и с 1932 года крестьян-

ское большинство постоянно пребывает в ВЦИКе и съездах, и режим путем медленной эволюции становится все более и более крестьянским.

Однако двойственная политика эсеровских интеллигентских кругов и метод уличных демонстраций и восстаний не раз колеблет основы советской конституции и заставляет крестьянских вождей держаться коалиции при организации Совнаркома, чему способствовали неоднократные попытки реакционного переворота со стороны некоторых городских элементов. В 1934 г. после восстания, имевшего целью установление интеллигентской олигархии наподобие французской, поддержанного из тактических соображений металлистами и текстильщиками, Митрофанов организует впервые чисто классовый крестьянский Совнарком и проводит декрет через съезд советов об уничтожении городов.

Восстание Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли городов, после чего они растворились в крестьянском море.

В сороковых годах был утвержден и проведен в жизнь генеральный план земельного устройства и были установлены метеорофоры, сеть силовых магнитных станций, управляющих погодой по методам А. А. Минина. Шестидесятые годы ознаменовались бурными религиозными волнениями и попыткой церкви захватить в Ростовском районе светскую власть. Глаза слипались и утомленный мозг отказывался что-либо воспринимать.

Кремнев загасил огонь и закрыл глаза. Однако ему долго мерещились глаза Катерины, и он смог уснуть только глубокой ночью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

которую молодые читательницы могут и пропустить, но которая рекомендуется особому вниманию членов коммунистической партии

Книжные полки, сверкавшие тусклой позолотой кожаных переплетов, и несколько владимиро-суздальских икон были единственным украшением обширного кабинета Алексея Александровича Минина.

Портрет его отца, известного воронежского, а впоследствии константинопольского профессора, дополнял убранство комнаты, выдержанной в глубоких кубовых тонах.

— Моя обязанность, — начал гостеприимный хозяин, — ознакомить вас с сущностью окружающей нас жизни, так как без этого знакомства вы не поймете значения наших инженерных установок и даже самой возможности их. Но, право, мистер Чарли, я теряюсь, с чего начать. Вы почти что пришелец с того света, и мне трудно судить, в какой области нашей жизни встретили вы для себя особенно новое и неожиданное.

— Мне бы хотелось, — сказал Кремнев, — узнать те новые социальные основы, на которых сложилась русская жизнь после крестьянской революции тридцатых годов, без них, мне кажется, будет трудно понять все остальное.

Его собеседник ответил не сразу, как бы обдумывая свой рассказ.

— Вы спрашиваете, — начал он, — о тех новых началах, которые внесла в нашу социальную и экономическую жизнь крестьянская власть. В сущности нам были не нужны какие-либо *новые* начала, наша задача состояла в утверждении *старых* вековых начал, испокон веков бывших основою крестьянского хозяйства.

Мы стремились только к тому, чтобы утвердить эти великие извечные начала, углубить их культурную ценность, духовно преобразить их и придать их воплощению такую социально-техническую организацию, при которой они бы проявляли не только исключительную пассивную сопротивляемость, извечно им свойственную, но имели бы активную мощь, гибкость и, если хотите, ударную силу.

В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда.

Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие, само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма.

Однако для того, чтобы утвердить режим нации XX века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основных организационных проблемы.

Проблему *экономическую,* требующую для своего разрешения создание такой народнохозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народнохозяйственный аппарат, который бы в своей работе технически не уступал никакому другому мыслимому аппарату и держался бы автоматически без подпорок неэкономического государственного принуждения.

Проблему *социальную,* или, если хотите, культурную, т. е. проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие долго монополией городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях жизни духа, по крайней мере не меньший, чем при всяком другом режиме.

При этом, мистер Чарли, мы должны были не только разрешить обе поставленные проблемы, но глубоко задуматься над средствами для такого разрешения. Для нас было важно не только то, *чего* мы хотели достичь, но так же и то, *как* это достижение могло совершиться.

Эпоха государственного коллективизма, когда идеологи рабочего класса осуществляли на земле свои идеалы методами просвещенного абсолютизма, привела русское общество в такое состояние анархической реакции, при котором было невозможно вводить какой-либо новый режим путем приказа или декрета, санкционируемого силою штыка.

Да и самому духу наших идеологов были чужды идеи какой-либо монополии в области социального творчества.

Не являясь сторонниками монистического понимания, мышления и действия, наши вожди в большей своей части имели сознание, способное вместить плюралистическое миропредставление, а потому считали жизнь тогда оправдавший себя, когда она могла полностью проявить все возможности, все зачатки, в ней заключающиеся.

Нам, говоря короче, нужно было разрешить поставленные проблемы так, чтобы предоставить возможность конкурировать с нами любым начинаниям, любым творческим усилиям. Мы стремились завоевать мир внутренней силой своего дела и своей организации, техническим превосходством своей организационной идеи, а отнюдь не расшибанием морды всякому иначе мыслящему.

Кроме того, мы всегда признавали государство и его аппарат далеко не единственным выражением жизни общества, а потому в своей реформе в большей своей части оперлись на методы общественного разрешения поставленных проблем, а не на приемы государственного принуждения.

Впрочем, мы никогда не были тупо принципиальны, и когда нашему делу угрожало насилие со стороны, а целесообразность заставляла вспомнить, что в наших руках была государственная власть, то наши пулеметы работали не хуже большевистских.

Из двух очерченных мною проблем, экономическая не представляла нам особенных затруднений.

Вам, наверное, известно, что в социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизоваться «высшие формы крупного коллективного хозяйства». Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько генетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма; рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его.

Будучи наемником, рабочий, строя свою идеологию, ввел наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями, и только единицы обладали правом творчества.

Однако простите, мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство, как протоматерию, ибо обладали экономическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта.

Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более как болезненный уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства.

Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства, его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять свое развитие в его русло. Тем паче, что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно мало совершенным по сравнению со строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива дает возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, предоставляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций.

Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело на степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущества над мелкими, и в своем настоящем виде представляет организм наиболее устойчивый и технически совершенный.

Такова опора нашего народного хозяйства. Гораздо труднее было поставить обрабатывающую промышленность. Было бы, конечно, глупо рассчитывать в этой области на возрождение семейного производства.

Ремесло и кустарничество при теперешней заводской технике исключено в подавляющем большинстве отраслей производства. Однако и здесь нас вывела крестьянская самодеятельность; крестьянская кооперация, обладающая

гарантированным и чрезвычайным объемом сбыта, затушила в зародыше для большинства продуктов всякую возможность конкуренции.

Правда, мы в этом несколько помогли ей и сломили хребет капиталистическим фабрикам внушительным податным обложением, не распространявшимся на производства кооперативные.

Однако частная инициатива капиталистического типа у нас все же существует: в тех областях, в которых бессильны коллективно управляемые предприятия, и в тех случаях, где организаторский гений высотою техники побеждает наше драконовское обложение. Мы даже не стремимся ее прикончить, ибо считаем необходимым сохранить для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их от технического застоя. Мы знаем, что и у теперешних капиталистов щучьи наклонности, но ведь давно известно, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Однако этот остаточный капитализм у нас весьма ручной, как впрочем и кооперативная промышленность, более склонная брыкаться, ибо наши законы о труде лучше спасают рабочего от эксплуатации, чем даже законы рабочей диктатуры, при которых колоссальная доля прибавочной стоимости усваивалась стадами служащих в главках и центрах.

Ну, а кроме того, сбросив с себя все хозяйственные предприятия, мы оставили за государством лесную, нефтяную и каменноугольную монополию, и, владея, топливом, правим тем самым всей обрабатывающей промышленностью.

Если к этому прибавить, что наш товарооборот в подавляющей части находится в руках кооперации, а система государственных финансов покоится на обложении ренты предприятий, применяющих наемный труд, и на косвенных налогах, то вам в общих чертах ясна будет схема нашего народного хозяйства.

— Простите, я не ослышался, — переспросил Кремнев, — вы сказали, что ваши государственные финансы основаны на косвенных налогах.

— Совершенно верно, — улыбнулся Алексей Александрович. — Вас удивляет столь «отсталый» метод, коробит в сравнении с вашими американскими подоходными системами. Но будьте уверены, что наши косвенные налоги столь же прогрессивно подоходны, как и ваши цензы. Мы достаточно знаем состав и механику потребления любого слоя нашего общества, чтобы строить налоги, главным образом, не на обложении продуктов первой необходимости, а на том, что служит элементом достатка, к тому же у нас далеко не так велика разница в средних доходах. Косвенное же обложение хорошо тем, что оно ни минуты не отнимает у плательщика. Наша государственная система вообще построена так, что вы можете годы прожить в Волоколамском, положим, уезде и ни разу не вспомнить, что существует государство, как принудительная власть.

Это не значит, что мы имеем слабую государственную организацию. Отнюдь нет. Просто мы придерживаемся таких методов государственной работы, которые избегают брать своих сограждан за шиворот.

В прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народнохозяйственной жизнью можно, только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных исполнителей план народнохозяйственной жизни.

Мы всегда полагали, а теперь можем доказать сорокалетним опытом, что эти языческие аксессуары, обременительные и для правителей, и для управляемых, теперь столь же нам нужны, как Зевсовы перуны для поддержания теперешней нравственности. Методы этого рода нами давно заброшены, как в свое время были брошены катапульты, тараны, сигнальный телеграф и Кремлевские стены.

Мы владеем гораздо более тонкими и действенными средствами косвенного воздействия, и всегда умеем поставить любую отрасль народного хозяйства в такие условия существования, чтобы она соответствовала нашим видам.

Позднее, на ряде конкретных случаев, я постараюсь показать вам силу нашей экономической власти.

Теперь же, в заключение своего народнохозяйственного очерка, позвольте остановить ваше внимание на двух организационных проблемах, особенно важных для познания нашей системы.

Первая из них — это проблема стимуляции народнохозяйственной жизни. Если вы припомните эпоху государственного коллективизма и свойственное ей понижение производительных сил народного хозяйства и вдумайтесь в принципы этого явления, то вы поймете, что главные причины лежали вовсе не в самом плане государственного хозяйства.

Нужно отдать должное организационному остроумию Ю. Ларина и В. Милютина: их проекты были очень хорошо задуманы и разработаны в деталях. Но мало еще разработать, нужно осуществить, ибо экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы.

Нужно не только спроектировать машину, но надлежит также найти и подходящие для ее сооружения материалы и ту силу, которая сможет эту машину провернуть. Из соломы не построишь башни Эйфеля, руками двух рабочих не пустишь в ход ротационную машину.

Если мы вглядимся в досоциалистический мир, то его сложную машину приводили в действие силы человеческой алчности, голода; каждый слагающий, от банкира до последнего рабочего, имел личный интерес от напряжения хозяйственной своей деятельности, и этот интерес стимулировал его работу. Хозяйственная машина в каждом своем участнике имела моторы, приводящие ее в действие.

Система коммунизма посадила всех участников хозяйственной жизни на штатное поденное вознаграждение и тем лишила их работу всяких признаков стимуляции. Факт работы, конечно, имел место, но напряжение работы отсутствовало, ибо не имело под собой основания. Отсутствие стимуляции сказывалось не только на исполнителях, но и на организаторах производства, ибо они, как и всякие чиновники, были заинтересованы в совершенстве самого хозяйственного действия, в точности и блеске работы хозяйственного аппарата, а вовсе не в результате его работы. Для них впечатление от дела было важнее его материальных результатов.

Беря в свои руки организацию хозяйственной жизни, мы немедленно пустили в ход все моторы, стимулирующие частнохозяйственное действие — сдельная плата, тантьемы организаторам и премии сверх цен за те продукты крестьянского хозяйства, развитие которых нам было необходимо, например, за продукты тутового дерева на севере.

Восстанавливая частнохозяйственную стимуляцию, естественно, мы должны были считаться с неравномерным распределением народного дохода.

В этой области львиная доля уже была сделана фактом захвата трех четвертей народнохозяйственной жизни в области промышленности и торговли кооперативными аппаратами, но все же проблема демократизации народного дохода всегда стояла перед нами.

Мы в первую очередь обратились к ослаблению доли, падающей на нетрудовые доходы — главнейшие мероприятия в этой области — рентные налоги в земледелии, уничтожение акционерных предприятий и частного кредитного посредничества.

Я пользуюсь старыми экономическими терминами, мистер Чарли, чтобы вам было понятно, о чем тут речь, ибо в вашей стране они еще употребляются, у нас же... я, право, не знаю, известны ли они вообще теперешней молодежи. Таково наше решение экономической проблемы.

Гораздо более сложной и трудной была для нас проблема социальная: удержание и развитие культуры при уничтожении городов и высоких рентных доходов.

— Впрочем, уже звонят к обеду, — остановил свой рассказ Алексеев собеседник, увидав в окно, как Катерина с видимой радостью и ожесточением звонила в чугунное било, висевшее посреди широкого двора.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

в которой описывается ярмарка в Белой Копи и выясняется полное согласие автора с Анатолем Франсом в том, что повесть без любви то же, что сало без горчицы

Из сохранившейся «Расходной книги патриаршего приказа» известно, что в начале осьмнадцатого века к столу святейшего патриарха Адриана ежедневно подавли: «папашник, присол щучий из живых, огниво белужье в ухе, варанчук севрюжий, шти с тешею, звено с хреном, схаб белужий, пирог косой с телом» и еще не менее двадцати блюд, в количествах помрачительных и качеством отменных. Сравнивая эту трапезу былых времен с утопической трапезой в гостеприимном доме Мининых, придется признать, что патриарха кормили несколько обильнее, но только несколько... Потому что, подчиняясь повелениям приехавшей из Москвы Параскевы, на обеденный стол появлялось такое количество растегаев и кулебяк, запеченных карасей и карасей в сметане и прочей снеди, что ножки у стола наверное бы гнулись, кабы были немного потоньше, а социалистический деятель Кремнев просто решил, что все соучастники трапезы к вечеру непременно помрут от излишества. Однако национальные блюда, приготовленные для просвещения американца, таяли весьма скоро и бесследно и заменялись все расту-

щими похвалами Параскеве, которая скромно просила адресовать их «Русской поварне», составленной господином Левшиным в 1818 году.

Отдохнув по православному обычаю после обеда на сеновале, молодежь потащила Кремнева на ярмарку в Белую Колпь.

Когда Кремнев и его спутники проходили берегом Ламы, тени облаков плыли по скошенному лугу, по дороге желетели пятна цветущей рябинки и в густом воздухе осени реяли паутины.

Катерина шла, высоко подняв голову, и четкий контур ее фигуры, охваченный порывом ветра, выделялся на голубых далях, стелящихся за рекой. Мег и Наташа рвали цветы. Пахло осенней полынью.

— А вот и большая дорога!

Повернули на шоссе, обсаженное плакучими березами, и вдалеке показались купола белоколпинской церкви.

Путников обогоняли телеги, расписные, как подносы, и битком набитые девками и парнями, щелкавшими орехи. Над дорогой звонко разносились переливы частушек:

Голубок сидит на крыше,
Голубка хотят убить,
Присоветуйте, подружки,
Из троих, кого любить.

Кремнева поразило почти полное отсутствие какой-либо разницы его спутников от встречных и перегоняющих. Те же костюмы, та же московская манера речи и выражений. Параскева весело и с видимым удовольствием отшучивалась от любезностей проезжавших парней, а Катерина просто вскочила в какую-то

телегу, перецеловала сидевших в ней девок и отняла у опешившего парня картуз с орехами, сунув ему в рот кусок банана.

Ярмарка была в самом разгаре.

На прилавке лежали горы тульских пряников, поджаренных и с цукатами, тверские мятные стерлядкой и генералом и сочная разноцветная коломенская пастила.

Промелькнувшие столетия ничего не изменили в деревенских сластях, и только внимательный взгляд мог различить немалое количество засахаренного ананаса, грозди бананов и чрезвычайно большое обилие хорошего шоколада.

Мальчишки свистали, как в доброе старое время, в глиняных золоченых петушков, как, впрочем, они свистали и при царе Иване Васильевиче и в Великом Новгороде. Двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом.

Словом, все было по-хорошему.

Катерина, которой было поручено просвещение «мистера Чарли», привела его в большую белую палатку и вместо всяких комментариев вымолвила:

— Вот!

Внутренность палатки была увешана картинами старых и новых школ. Кремнев с радостью узнавал «старых знакомых» — Венецианова, Кончаловского, «Святого Герасима» рыбниковской кисти, Новгородского «Илью» Остроуховского собрания и сотни новых незнакомых картин и скульптур, живо напомнивших ему вчерашний разговор с Параскевой.

Он остановился перед «Христом отроком» Джампетрино, который пленял его в Румянцевском музее, и произнес, рискуя выдать свое инкогнито:

— Каким же образом они могли попасть на ярмарку Белой Колпи?

Параскева поспешила объяснить ему, что балаган представлят собою передвижную выставку Волоколамского музея, в котором временно гастролируют некоторые московские картины.

Густая толпа посетителей, внимательно смотрящих и обменивающихся замечаниями, свидетельствовала Кремневу, что изобразительные искусства вошли весьма прочно в обиход крестьянской жизни и встречают подготовленное понимание. В последнем его убедила энергия, с которой раскупались продающиеся у входа 132-е издание книги П. Муратова «История живописи на ста страницах» и книжки «От Рокотова до Ладонова», прочтя обложку которой, он убедился, что Параскева не только умеет говорить о живописи, но даже пишет книги.

В соседней палатке бабы толпились у образцов древнерусских вышивок, а два парня примерялись к шкафчику Буля.

Вскоре выставка начала пустеть, и шум голосов и звон колокола известили о начале ритмических игр, за которыми последовали матч в бабки, бег с препятствиями и другие состязания на первенство Яропольской волости. Огромные голубые афиши обещали на семь часов «Гамлета» господина Шекспира, в исполнении труппы местного кооперативного союза.

Однако надо было торопиться домой и зайти на пчельник за медом. Поэтому, оставляя в стороне эти празднества, компания успела завернуть только в паноптикум, выставленный

культурно-просветительным отделом губернского крестьянского союза.

Восковые бюсты — портреты всех исторических личностей — стояли по стенам, панорамы знакомили зрителя с величайшими событиями отечественной и мировой истории и диковинными жаркими странами.

Двигающиеся автоматы изображали Юлия Цезаря перед Рубиконом, Наполеона на стенах Кремля, отречение Николая II и его смерть, Ленина, говорящего на съезде советов, Седова, разгоняющего восставших ремингтонисток, поющего баса Шаляпина и баса Гаганова.

— Посмотрите, да это ваш портрет! — воскликнула Катерина.

Кремнев остолбенел: перед ним на полотне под стеклом стоял бюст, напоминавший фотографические карточки, и под ним было написано:

«Алексей Васильевич Кремнев, член коллегии Мирсовнархоза, душитель крестьянского движения России. По определению врачей, по всей вероятности, страдал манией преследования, дегенерация ясно выражена в асимметрии лица и строении черепа».

Алексей густо покраснел и боялся взглянуть на спутников.

— Вот здорово-то! Сходство изумительное, даже куртка, и то как у Вас, мистер Чарли! — воскликнул Никифор Алексеевич.

Все почему-то смутились и в молчании вышли из палатки паноптикума.

Торопились домой, но Катерина утащила Кремнева к пчельнику за медом. Дорога пересекала огороды с капустой. Почти синие, крепкие кочны сочными пятнами подчеркивали черноту земли. Две женщины, сильные и одетые

в белые с розовыми крапинками платья, срезали наиболее созревшие из них, бросая в двухколесную тележку.

Алексей, потрясенный лицезрением своего воскового двойника, впервые за все время своего утопического путешествия ясно и до конца почувствовал всю серьезность и безвыходность своего положения.

Первородный грех его самозванного рождения связывал его по рукам и по ногам, настоящее же его имя, очевидно, в царстве крестьянской утопии было равносильно волчьему паспорту.

Но этот окружающий мир с капустными огородами, синими далями и красными гроздьями рябины уже не был чуждым ему.

Он чувствовал с ним новую, драгоценную для него связь, близость даже большую, чем к покинутому социалистическому миру, и причина этой близости, раскрасневшаяся от быстрого шага Катерина, шла рядом с ним, зачарованная, незаметно близко прильнувшая к нему.

Они замедлили шаги, спускаясь по косогору старого русла. Алексей коснулся ее руки, и пальцы их сплелись.

Над землей, совершенно черной и вспаханной, четкими рядами поднимались кроны яблонь с ветвями, изогнутыми, как на старинной японской гравюре, и отягощенными плодами. Крупные, красные и душистые яблоки и стволы, белые, намазанные известью, насыщали воздух запахом плодородия, и ему казалось, что запах этот просачивается сквозь поры обнаженных рук и шеи его спутницы.

Так началась его утопическая любовь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

весьма схожая с главой девятою

Когда Кремнев и его спутница вернулись домой, то их давно уже ждали с ужином.

Встретили холодно и молча сели за стол. В доме чувствовалась какая-то тревога. Говорили об угрожающих событиях в Германии, о требовании немецкого совнаркома пересмотреть галицийскую границу. Алексею казалось, что не только он, но и Катерина чувствует себя чем-то виноватой.

Некоторая сухость чувствовалась и у Алексея Александровича, когда вечером Алексей вошел в его кабинет для продолжения утренней беседы.

— В утренней сегодняшней беседе, — начал седовласый патриарх, — я упустил из виду отметить еще одну особенность нашего экономического режима. Стремясь к демократизации народного дохода, мы естественно распыляли получаемые нами средства и столь же естественно препятствовали образованию крупных состояний.

При всех положительных качествах этого явления оно имело и отрицательные. Во-первых, ослаблялось накопление капиталов. Распыленный доход почти целиком потреблялся, и капиталообразующая сила нашего общества,

особенно после уничтожения частного кредитного посредничества, естественно была ничтожна.

Поэтому пришлось употребить значительные усилия для того, чтобы крестьянские кооперативы и некоторые государственные органы принимали серьезные меры для создания особых социальных капиталов, и тем форсировать капиталообразование. К разряду этих же мероприятий относится у нас щедрое финансирование всяких изобретателей и предпринимателей, работающих в новых областях хозяйственной жизни.

Другим последствием демократизации национального дохода являлось значительное ослабление меценатства и сокращение количества ничего не делающих людей, т. е. двух субстратов, из которых в значительной степени питались искусства и философия.

Однако и здесь крестьянская самодеятельность, сознаюсь, несколько подогретая из центра, сумела справиться с задачей.

Для процветания искусств со стороны общества требуется повышенное внимание к ним и активный и щедрый спрос на их произведения. Теперь и то и другое налицо: сегодня вы видели в Белой Колпи выставку картин и отношение к ней населения; необходимо добавить, что наше теперешнее сельское строительство исчисляет заказываемые им фрески сотнями, если не тысячами квадратных сажен; прекрасные куски живописи вы найдете в школах и народных домах каждой волости. Существует значительный частный спрос.

Знаете даже, мистер Чарли, у нас в спросе не только произведения художников, но и сами художники. Мне известен не один случай, когда

та или иная волость или уезд уплачивали по многолетним контрактам значительные суммы художнику, поэту или ученому только за перенос его местожительства на их территорию. Согласитесь, что это напоминает Медичи и Гонзаго времен Итальянского возрождения.

Кроме того, мы усиленно поддерживаем «братство Флора и Лавра», «изографа Олимпия» и немало других, с организацией которых вы, как кажется, уже знакомы.

Как видите, говоря об экономической проблеме, мы незаметно подошли к проблеме социальной, для нас более трудной и более сложной.

Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут, а общество невидимыми для личности путями блюло бы общественный интерес.

При этом мы никогда не делали из общества кумира, из государства нашего — фетиш.

Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством. Среди этих средств наиболее мощным, наиболее необходимым почитаем мы общество и государство, но никогда не забываем, что они — только средства.

Особенно осторожны мы в отношении государства, коим пользуемся только когда этого требует необходимость. Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой, смягчение нравов

идет со скоростью геологических процессов. Сильные натуры, обладающие волей к власти, всегда стремятся добыть себе полную, интегральную и содержательную жизнь на опустошении жизни других. Мы понимаем отлично, что жизнь Герода Атика, Марка Аврелия, Василия Голицына вряд ли в чем-нибудь по своему содержанию и глубине уступали жизни лучших людей современности. Вся разница в том, что тогда этой жизнью жили единицы, теперь живут десятки тысяч, в будущем, надеюсь, будут жить миллионы. Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали быть пищею только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян.

В сторону этого прогресса общество неуклонно развивается последние два столетия, и оно, конечно, имеет право обороняться. Когда какие-нибудь сильные натуры или даже целые группы сильных натур мешают этому прогрессу, то общество может обороняться, и государство — испытанный в этом отношении аппарат.

Кроме того оно неплохое орудие для целого ряда технических надобностей.

Вы спросите, как оно у нас устроено? Как вам известно, развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Этим отчасти и объясняются многие из существующих наших установлений. Как вы знаете, наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. С одной стороны — это наследие социалистического периода нашей истории, с другой стороны — в нем немало

ценных сторон. Необходимо отметить, что в крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября семнадцатого года в системе управления кооперативными организациями.

Основные начала этой системы вам, вероятно, известны, и я не буду останавливаться на них.

Скажу только, что мы ценим в ней идею непосредственной ответственности всех органов власти перед теми массами или учреждениями, которые они обслуживают. Из этого правила у нас изъяты только суд, государственный контроль и некоторые учреждения и области путей сообщения, стоящие всецело в управлении центральной власти.

Немалую ценность в наших глазах представляет расщепление законодательной власти, при котором принципиальные вопросы решаются съездом советов с предварительным обсуждением их на местах, подчеркиваю — обсуждением, т. к. закон запрещает делегатам иметь императивные мандаты. Сама же законодательная техника передается ЦИК и в целом ряде случаев Совнаркому.

При таком способе управления народные массы наиболее втянуты в государственное творчество и в то же время обеспечена гибкость законодательного аппарата.

Впрочем, мы далеко не ригористы даже в проведении всей этой механики в жизнь, и охотно допускаем местные варианты; так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели «удельного князя», правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской

территории единолично правит «генерал-губернатор» центральной власти.

— Простите, — перебил его Кремнев. — Съезды советов, ЦИК и местные совдепы — это все же не более, как санкция власти, на чем же держится у вас сама материальная власть?

— Ах, добрейший мистер Чарли, об этих заботах наши сограждане почти уже забыли, ибо мы совершенно почти разгрузили государство от всех социальных и экономических функций, и рядовой обыватель с ним почти не спорикасается.

Да и вообще мы считаем государство одним из устарелых приемов организации социальной жизни, и девять десятых нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима: различные общества, кооперативы, съезды, лиги, газеты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы — вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа, как такового.

И вот здесь-то, при ее организации, нам приходится сталкиваться с чрезвычайно сложными организационными проблемами.

Человеческая натура, увы, склонна к опрощению, предоставленная сама себе, без социального общения и психических возбуждений со стороны, она постепенно погасает и растрачивает свое содержание. Брошенный в лес человек дичает. Его душа скудеет содержанием.

Поэтому вполне естественно, что мы, разнеся вдребезги города, бывшие многие столетия источниками культуры, весьма опасались, что наше распыленное среди лесов и полей дере-

венское население постепенно закиснет, утратит свою культуру, как утратило ее в петербургский период нашей истории.

В борьбе с этим закисанием нужно было подумать о социальном дренаже.

Еще большие опасения внушала проблема дальнейшего развития культуры, того творчества, которым мы были обязаны тому же городу.

Нас неотступно преследовала мысль: возможны ли высшие формы культуры при распыленном сельском поселении человечества?

Эпоха помещичьей культуры двадцатых годов прошлого века, давшая декабристов и подарившая миру Пушкина, говорила нам, что все это техниески возможно.

Оставалось только найти достаточно мощные технические средства к этому.

Мы напрягли все усилия для создания идеальных путей сообщения, нашли средства заставить население двигаться по этим путям, хотя бы к своим местным центрам, и бросили в эти центры все элементы культуры, которыми располагали: уездный и волостной театр, уездный музей с волостными филиалами, народные университеты, спорт всех видов и форм, хоровые общества, все вплоть до церкви и политики было брошено в деревни для поднятия ее культуры.

Мы рисковали многим, но в течение ряда десятилетий держали деревню в психическом напряжении. Особая лига организации общественного мнения создала десятки аппаратов, вызывающих и поддерживающих социальную энергию масс, каюсь, даже в законодательные учреждения вносились специально особые законо-

проекты, угрожавшие крестьянским интересам, специально для того, чтобы будировать крестьянское общественное сознание.

Однако едва ли не главное значение в деле установления контакта наших сограждан с первоисточником культуры имели закон об обязатальном путешествии для юношей и девушек и двухлетняя военно-трудовая повинность для них.

Идея путешествий, заимствованная у средневековых цехов, приводила молодого человека в соприкосновение со всем миром и расширяла его горизонты. В еще большей мере он подвергался обработке во время военной службы. Ей, говоря по совести, мы не придавали почти никакого стратегического значения: в случае нападения иноземцев у нас есть средства обороны более мощные, чем все пушки и ружья вместе взятые, и если немцы приведут в исполнение свои угрозы, они в этом убедятся.

Но педагогическая роль трудовой службы, нравственно дисциплинирующая — неизмерима. Спорт, ритмическая гимнастика, пластика, работа на фабриках, походы, маневры, земляные работы — все это выковывает нам сограждан и, право же, милитаризм этого рода искупает многие грехи старого милитаризма.

Остается развитие культуры, отчасти я уже говорил вам о том, что сделано в этой области.

Главная идея, облегчившая нам разрешение проблемы, была идея искусственного подбора и содействия организации талантливых жизней.

Прошлые эпохи не знали научно человеческой жизни, они не пытались даже сложить учение о ее нормальном развитии, о ее пато-

логии, мы не знали болезней в биографиях людей, не имели понятия о диагнозе и терапии неудавшихся жизней.

Люди, имевшие слабые запасы потенциальной энергии, часто сгорали как свечки и гибли под тяжестью обстоятельств, личности колоссальной силы не использовали десятой доли своей энергии. Теперь мы знаем морфологию и динамику человеческой жизни, знаем, как можно развить из человека все заложенные в него силы. Особые общества, многолюдные и мощные, включают в круг своего наблюдения миллионы людей, и будьте уверены, что теперь не может затеряться ни один талант, ни одна человеческая возможность не улетит в царство забвения...

Кремнев вскочил потрясенный.

— Но разве это не ужас! Эта тирания выше всех тираний! Ваши общества, воскрешающие немецких антропософов и французских франкмасонов, стоят любого государственного террора. Действительно, зачем вам государство, раз весь ваш строй есть не более, как утонченная олигархия двух десятков умнейших честолюбцев!

— Не волнуйтесь, мистер Чарли, во-первых, каждая сильная личность не ощутит даже намека нашей тирании, а во-вторых, вы были правы лет тридцать назад — тогда наш строй был олигархией одаренных энтузиастов. Теперь мы можем сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего!» Крестьянские массы доросли до активного участия в определении общественного мнения страны, и если мы духовно у власти, то потому только, что «Und der Kaiser absolut, wenn er unsre Wille tut», как говорят немцы.

Попробуй самая сильнейшая организация пойти вразрез мнению тех, кто живет и думает в избах Яропольца, Муринова и тысяч других поселений, — сразу же потеряет она свое влияние и духовную власть.

Поверьте, что духовная культура народа, раз достигнув определенного, очень высокого духовного уровня, далее удерживается автоматически и приобретает внутреннюю устойчивость. Наша задача заключается в том, чтобы каждая волость жила своей творческой культурной жизнью, чтобы качественно жизнь Корчевского уезда не отличалась от жизни уезда Московского, и, достигнув этого, мы, энтузиасты возрождения села, мы, последователи великого пророка А. Евдокимова, можем спокойно сходить в могилу.

Глаза старика горели огнем молодости, перед Кремневым стоял фанатик.

Кремнев встал и с видимым раздражением обратился к Минину:

— Хорошо, вы говорите, что свободная человеческая личность, все государство, долг, общество — средства. Что же, по-вашему, социальный критерий для самооценки своих поступков для ваших граждан необходим или излишен?

— С точки зрения удобства государственного управления и как массовое явление — желателен, с точки зрения этической — не обязателен.

— И это вы проповедуете открыто?

— Да поймите вы, дорогой мой, — вспыхнул старик, — что у нас нет воровства не потому, что каждый сознает, что воровать дурно, а потому, что в головах наших со-

граждан не может зародиться даже мысли о воровстве. По-нашему, если хотите, осознанная этика — безнравственна.

— Хорошо, но вы-то, все это сознающие, вы, главковерхи духовной жизни и общественности, — кто вы: авгуры или фанатики долга? Какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского эдема?

— Несчастный вы человек! — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост. — Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябина, что стимулировало его к созданию «Прометея», что заставило Рембрандта создать его сказочные видения! Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли! Вы хотите знать, кто мы — авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие — мы люди искусства.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

описывающая значительные улучшения в московских музеях и увеселениях и прервавшаяся весьма неприятной неожиданностью

Утром следующего дня Кремнев почувствовал еще большее охлаждение к нему обитателей Белоколпинского городка. Алексей Александрович как-то нехотя давал ему объяснения, связанные с устройством системы метеорофора.

По его словам, факт связи того или иного состояния погоды с напряжением силовых магнитных линий был отмечен еще в XIX столетии. Проносящиеся циклоны и антициклоны всегда имели свое магнитное видоизображение. Было только не совсем ясно, что в этой связи является определяющим моментом: погода определяет состояние магнитного поля или магнитное поле определяет погоду. Анализ подтвердил вторую гипотезу, и установка сети 4500 магнитных силовых станций позволила почти по полному произволу управлять состоянием магнитного поля, а следовательно и погоды. Минин перешел к описанию метеорофора, но, заметив слабость Алексея в законах математики, резко прервал свои объяснения...

За обедом Кремнев почувствовал невыносимость своего положения, приближение катастрофы, и потому был счастлив безмерно,

когда Параскева попросила его поехать с ней в Москву за покупками и для посещени духовного концерта московских колоколов.

Легкий аэропиль доставил их к трем часам на аэродром центра, и так как до начала концерта оставался добрый час времени, Параскева предложила Алексею посмотреть московские музеи, говоря, что теперь им удалось сделать то, перед чем остановилась в бессилии великая революция, и вытянуть из музейной рутины все сокровища духа, хранящиеся в них.

— Даже исторический музей, и тот в семидесятый год был вынут из-под спуда!

Новое здание Румянцевского музея занимало целый огромный квартал от Манежа до Знаменки, выходя своими фасадами к Александровскому саду. В длинных вереницах комнат перед ним раскрылись диковинные видения Сандро Ботичелли, Рубенса, Веласкеза и других корифеев старого искусства, японские и неведомые ему ранее китайские эмали, — все эти дары чужих стран, вымененные, как пояснила Параскева, на Новгородские и Суздальские иконы у музеев Запада и восточных стран. Пробегая беглым осмотром десятки зал, Алексей невольно задержался в залах реликвий. Его поразила комната Пушкина, раскрывшая Алексею душу великого поэта лучше, чем все десятки книг о нем, когда-то прочитанных. Ушаковский альбом, листки альбомных стихов, портреты близких, нащокинский домик и сотни других свидетелей великой жизни.

Он был подавлен залами эпохи великой революции, где знакомые лица и предметы, несколько подернувшиеся паутиной времени, под-

черкнуто вызывающе смотрели на него.

Однако, оставаться долее было невозможно, через полчаса должен был ударить первый колокол.

Когда они вышли на улицу, плотные толпы народа заливали собою площади и парки, сады, расположенные по берегу Москва-реки. Получив в руки программу, Алексей прочел, что общество имени Александра Смагина, празднуя окончание жатвы, приглашает крестьян Московской области прослушать следующую программу, исполняемую на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей.

ПРОГРАММА

1. Звоны Ростовские XVI века.
2. Литургия Рахманинова.
3. Звон Акимовский (1731 г.).
4. Куранты Борисяка.
5. Перезвон Егорьевский с перебором.
6. «Проеметей» Скрябина.
7. Звоны московские.

Через минуту густой удар Полиелейного колокола загудел и пронесся над Москвой, ему в октаву отозвались Кадаши, Никола Большой Крест, Зачатьевский монастырь, и Ростовский перезвон охватил всю Москву. Медные звуки, падающие с высоты на головы стихшей толпы, были подобны взмахам крыл какой-то неведомой птицы. Стихия Ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслась куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы рахманиновской литургии.

Алексей, подавленный, поверженный ниц высшим торжеством искусства, почувствовал, что кто-то взял его за плечо.

Быстро обернувшись, заметил он Катерину, с таинственным видом звавшую его следовать за собою... Он пытался сказать ей что-то, но звуки голоса бесследно тонули в колокольном звоне.

Через минуту они входили в залы гигантского ресторана «Юлия и Слон», в комнатах которого можно было укрыться от колокольного звона.

— Я не знаю, кто вы, — шептала взволнованная Катерина. — Знаю только, что вы не Чарли Мен.

И она, волнуясь и путаясь в словах, рассказала ему, что его плохое английское произношение и чистый русский выговор, детали костюма и незнание математики в первый же день вселили в их семье недоверие, все время усиливавшееся, что его определенно считают за антропософа, подготовлявшего германскую авантюру, что ему грозит арест и, может быть, еще что-либо худшее, что она не верит этой клевете, что за минувшие два дня она узнала и полюбила его, что он человек необыкновенный, хищный и прекрасный, как волк, и что она искала его предупредить и умоляет бежать, что она боится навести на его след судебную власть, которая теперь арестует немцев и антропософов, что война с минуты на минуту будет объявлена; и неожиданно поцеловав его в лоб, она столь же неожиданно скрылась.

Кремнев, годы живший в русском подполье самодержавной эпохи, все-таки был ошарашен и убит безысходностью своего положения. Он вздрогнул, заметив на себе пристальный и подозрительный взгляд половых.

Быстро вышел из ресторана на площадь. Колокола уже не сотрясали небо, и толпы в тревоге расходились. Газетчики разбрасывали листки. «Война, война», — слышалось со всех сторон.

Не успел Кремнев пройти и десяти шагов, как кто-то опустил на его плечо тяжелую руку, и он услыхал голос: «Остановитесь, товарищ, вы арестованы!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

знакомящая Кремнева с плохим устройством мест заключения в стране утопии и некоторыми формами утопического судопроизводства

Обширная «Гостиница для приезжающих из Рязанских земель», временно превращенная в тюрьму, была окружена со всех сторон караулами крестьянской гвардии в живописных костюмах стрельцов эпохи Алексея Михайловича.

Когда арестовавший Алексея комиссар привел его в вестибюль и сдал на руки коменданту, тот взял его арестный номер и, позвонив портье, сказал:

— Мы несколько не рассчитали помещения, и я буду принужден поместить вас на сегодняшнюю ночь в общую комнату. Вы как будто без вещей? Если вы москвич, то сообщите адрес, и мы пошлем к вам домой за необходимыми вещами.

Кремнев заметил, что он, к сожалению, человек приезжий, и ему обещали достать все из гостиничных запасов.

Концертный зал гостиницы, приспособленный в узилище, походил на вокзал узловой станции старого доброго времени. Мужчины и дамы разных возрастов и состояний сидели рядом с саквояжами и тюками в скучающих позах и с хмурым видом.

Здесь были немцы в кожаных куртках и кепи, худые и тонкие, с тевтонской надменностью и презрением ко всему окружающему. Русские бледные дамы, молодые люди с невидящими бесцветными глазами и какие-то юркие личности восточного происхождения.

Как удалось впоследствии узнать Алексею, русские дамы и молодые люди были антропософами, несчастными людьми, захваченными немецкой интригой и подавленные великой немецкой идеей.

Комендант узилища, вышедший в залу, еще раз извинился перед всеми собранными по поводу лишения их свободы и адских условий размещения, выразил надежду, что дня через два все будут уже на свободе, и обещал компенсировать неудобства хорошим обедом и всякими развлечениями.

Действительно, обед, или точнее ужин, не заставил себя ждать, а вечером немцы, окружив ломберные столы, резались в карты, остальная же публика слушала небольшой концерт, наскоро организованный комендантом.

Спали на складных постелях, не раздеваясь. Утром Алексей был на допросе и на вопрос — кто он и почему выдавал себя за американца инженера Чарли Мена, чистосердечно рассказал всю свою историю, боясь, что его повествование встретят смехом и, как доказательство, привел свой бюст из Белоколпинского паноптикума и вероятные материалы в залах реликвий Румянцевского музея.

К его великому удивлению его повествование не встретило возражений или недоумений, но было спокойно записано, и ему сказали, что вечером его подвергнут экспертизе.

Весь томительно долгий день Кремнев просидел перед окнами отведенной ему комнаты и смотрел в город.

Социальное море было в состоянии бури, деревенская Россия, подобно дядьке Черномору, выводила из своих недр тридцать три богатырские силы.

Плотные колонны войск быстрыми шагами французских шассеров проходили по шоссе перед окнами. Какая-то молодая дама в голубой амазонке, на белом коне и с генеральским султаном принимала парад легкой кавалерии амазонок. С волнением в душе Алексей узнал в предводительнице одного из лихо проведенных эскадронов знакомые черты Катерины. Скоро кавалерия сменилась пехотой, и толпы штатского населения залили все видимое пространство.

Толпа слушала речи ораторов из разъезжающих автомобилей и ловила ленты телеграмм, кипами разбрасываемых в толпу.

К вечеру Алексея усадили в закрытый автомобиль и привезли на Моховую, где в круглой зале правления университета его ждала экспертная комиссия.

— Скажите, — начал свой вопрос седой старик в золотоых очках, — что такое Обликомзап? Если вы действительно современник великой революции, вы должны разъяснить нам смысл этого слова.

Кремнев с улыбкой ответил, что это означает «Областной исполнительный комитет западной области» — учреждение, существовавшее некоторое время в Питере после перехода столицы в Москву.

Что за учреждение Цекмонкульт?

Центральный комитет монополизированной культуры, установленный в 1921 году для принудительного использования культурных сил.

— Скажите, по каким соображениям были в силу введены и почему уничтожены деревенские комбеды?

Кремнев ответил с достаточной удовлетворительностью и на этот вопрос.

Ему были предъявлены ряд документов эпохи с просьбой их комментировать, с чем он справился также удовлетворительно, и, наконец, ему долго и с трудом пришлось объяснить идею урбанизации земледелия, отвечая на вопрос о советских хозяйствах.

В итоге его собеседники профессора долго и с сожалением качали головами и заявили ему на прощание, что он несомненно начитан в революционной литературе, в нем видно знакомство с архивами, но что он совершенно не представляет собою духа эпохи и чудовищно, по непониманию, толкует исторические события, а потому ни в коем случае не может быть признан современником их.

Когда Алексея везли обратно в узилище, то улицы снова были переполнены толпой, и она громко, как рокот моря, и торжествующе шумела.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

и в первой части последняя, свидетельствующая одновременно о том, что подчас орала могут быть перекованы в мечи и что Кремнев в конце концов оказался в весьма печальном положении

Звон колоколов, торжественный и поющий, разбудил вынужденных обитателей «Гостиницы для приезжающих из Рязанских земель», и всем им вскоре было заявлено, что по случаю окончания войны все они свободны, но желающие могут остаться напиться утреннего кофе.

Тюрьма немедля превратилась в оживленный отель, и тем вернулась к своему первоначальному естеству.

Когда Кремнев уходил, то комендант вручил ему пакет с определением следственной комиссии, которая указывала, что за отсутствием состава преступления гражданин, именующий себя Кремневым Алексеем, подлежит освобождению наравне с остальными. Версию о его происхождении комиссия считает неправдоподобной, но, не имея оснований усматривать в самозванстве гражданина, именующего себя Кремневым, какого-либо преступного элемента, следствие, возбужденное Никифором Мининым, прекращает.

Алексей решил воспользоваться предоставленным ему правом позавтракать на казенный счет на верандах своего бывшего узилища, и,

заняв столик, углубился в чтение брошенного ему газетчиком листка с официальным сообщением о прекращении войны.

Алексей узнал, что 7 сентября три армии германского Всевобуча, сопровождаемые тучами аэропланов, вторглись в пределы Российской крестьянской республики и за сутки, не встречая никаких признаков не только сопротивления, но даже живого населения, углубились на 50, а местами и на 100 верст.

В 3 часа 15 минут ночи на 8 сентября по заранее разработанному плану метеорофоры пограничной полосы дали максимальное напряжение силовых линий на циклоне малого радиуса, и в течение получаса миллионные армии и десятки тысяч аэропланов были буквально сметены чудовищными смерчами. Установили ветровую завесу на границе, и высланные аэросани Тары оказывали посильную помощь поверженным полчищам. Через два часа берлинское правительство сообщило, что оно прекращает войну и уплачивает вызванные ею издержки в любой форме.

Таковой формой русский Совнарком избрал несколько десятков полотен Ботичелли, Доменико Вециано, Гольбейна, Пергамский алтарь и 1000 китайских раскрашенных гравюр эпохи Танг, а также 1000 племенных быков-производителей знаменитой породы «Nur fur Deutschland».

Звонкие трубы крестьянской рамии трубили фанфары, и звуки скрябинского «Прометея», оказавшегося государственным гимном, сотрясали небо Москвы.

Кофе был допит, ростбиф окончен, и Кремнев поднялся со стула. Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один без связей и без средств к существованию в жизнь почти неведомой утопической страны.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОЧНИКАХ РОМАНА Г. ОРВЕЛЛА "1984"

Р. Е. Ф. СМИТ

Известный антиутопический роман Г. Орвелла "1984" прочно закрепил эту дату в английском языке в качестве символа. Роман Орвелла, впервые опубликованный в 1949 году, был написан под влиянием Евгения Замятина, чей роман-антиутопию "Мы" он знал по французскому переводу (Shane, 1968, 140). Выбор Орвеллом, казалось бы, произвольной даты, 1984, для своей антиутопии был любопытно истолкован Глебом Струве как "шутка над читателями": Орвелл якобы просто поменял местами последние две цифры года написания романа (Струве, 1972, 50. См. Бондаренко, "Грани", № 56, 1964, 198). Струве рассказал Орвеллу о Замятине в начале 40-х годов и одолжил ему французскую версию "Мы". Дейчер (1955, 36) утверждает, что "Орвелл позаимствовал идею "1984", а также сюжет, главных героев, символику и всю атмосферу рассказа" у Замятина. Не позаимствовал ли он и дату у Замятина?

Глеб Струве считает эту связь маловероятной. "Замятин, возможно, и знал Чаянова. Из этого, однако, не следует, что он знал его роман (или повесть) "Утопия". Об этом определенно нет упоминаний, как и о 1984 годе, среди всего того, что осталось после Замятина. Этой даты нет и в романе "Мы". Но даже если он и знал повесть Чаянова и дату в ней, как он мог передать эти сведения Орвеллу? Орвелл ничего не знал о Замятине и о его романе "Мы" до 1944 года (см. его письмо ко мне от 17 февраля 1944 года)".

"Я до сих пор склонен держаться, – продолжал Струве, – за свое "спекулятивное" объяснение даты Орвелла. Это правда, что он начал писать роман значительно раньше, но к 1947 году он знал, что дата публикации романа будет 1948 год. Что касается даты Чаянова, возникшей, вероятно, весьма произвольно, для нее объяснение, мне думается, должно быть следующим: Чаянов датирует свержение большевистского режима (и его

замещение крестьянскими Советами) 1934 годом; 1984 год, таким образом, мог бы означать пятидесятилетие крестьянского правления; это надо запомнить и подчеркнуть. Тождество даты у Чаянова и Орвелла – чистое совпадение". (Частная переписка от 14 февраля 1976 г.; также Струве, 1976.)

Собственно говоря, не все ясно относительно 1984 года в качестве решающей даты пятидесятой годовщины. В своей "Утопии" Чаянов утверждает, что постоянное крестьянское большинство в Центральном Исполнительном Комитете и на съездах существовало с 1932 года; 1934 год был свидетелем, во-первых, восстания, во-вторых, возникновения первого чисто крестьянского Совета Народных Комиссаров, и в этом же году был издан указ о разрушении городов. Эти события 1934 года, несомненно, важны для рассказа, но сам Чаянов не подчеркивает 1934 год в качестве решающей даты, как и не упоминает празднование этой годовщины. В самом деле, он обращается с этой датой довольно небрежно, заставляя Никифора Минина в повести ссылаться на декрет о разрушении городов как на историю сорокалетней, а не пятидесятилетней давности (стр. 12) Похоже, что он придает большее значение тому факту, что

> "Восстание Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли города" (стр. 27).

Можно предположить, что в рамках рассказа подавление восстания могло бы служить более важным поводом для празднования.

Если дата 1984 была всего лишь совпадением, то это весьма странное совпадение. В действительности, однако, более убедительное происхождение этой даты может быть найдено в другом месте. Мэтью Ходгарт (Gross, 1971, 140) обратил внимание на возможность заимствования даты 1984 из романа Дж. Лондона "Железная пята", который был впервые опубликован в 1907 году. Эта работа была хорошо известна Орвеллу, ценившему ее содержание, и она также была доступна Чаянову, так как полное собрание сочинений Лондона по-русски вышло во втором издании до Первой мировой войны. Таково, следовательно, почти наверняка происхождение даты как у Чаянова, так и Орвелла. У Лондона как будто не было очевидных причин для выбора этой даты, которая появляется в 21-й главе "Железной пяты" и является всего лишь одной из двенадцати дат для описания будущего в романе.

Любопытно поэтому, что и Чаянов и Орвелл выбрали дату 1984 для своих повестей. Возможно, Орвелл выбрал эту дату не совсем независимо от Чаянова. Под псевдонимом Ботаник Х в 1918 году Чаянов опубликовал рассказ "Кукла парикмахера, или Последняя любовь М, московского архитектора". В рассказе содержатся некоторые характерные детали, общие с "Утопией" (например, паноптикум с восковыми изображениями); рассказ был посвящен Э. Т. А. Гофману, немецкому писателю, чьи герои дали имя "Серапионовым братьям" – ранняя советская группа писателей, вдохновителем которых был Замятин (Уланов, 1966, 17). Замятин также был связан с группой "Заветы". "Заветы" – литературный и политический журнал эсеровского направления, впервые появился в 1912 году. Это было время, когда Чаянов проявил себя в сельскохозяйственных и кооперативных кругах. Замятин, следовательно, мог слышать о Чаянове уже с 1912 года. Роман "Мы" был написан в 1920–1921 годах, в то самое время, когда появилась "Утопия" Чаянова. Замятин знал английский язык и работал в Англии в 1916–1917 годах. Хотя и маловероятно, что он предложил Орвеллу дату 1984 год, он остается возможным связующим звеном между той средой, в которой возник русский 1984 год и англоязычным миром.

Между тем выясняется, что сам Чаянов был в Англии в 1922 году. Опять под псевдонимом Ботаник он опубликовал "Венецианское зеркало, или Удивительные приключения стеклянного человека" (1923); и в этой повести снова есть места, напоминающие "Утопию", а в конце текста подпись "Лондон, 1921". Это не больше чем гипотеза, хотя и не совсем невероятная, что Чаянов говорил о своем 1984 годе английским друзьям, и дата сохранилась в устной традиции в течение 25 лет, и когда Орвелл читал "Железную пяту", он, может быть, бессознательно заметил эту дату. Даже если это было так, остается загадкой, почему Чаянов выбрал эту дату.

Перевела
В. ПОЛУХИНА

Ссылки, встречающиеся в тексте этой статьи, относятся к специальному изданию: The Journal of Peasant Studies. *Vol. 4, №1, October 1976*

СОДЕРЖАНИЕ

Глеб Струве. О Чаянове и его утопии. 5

Приложение I

Библиогафия произведений А.В.Чаянова и литература о нем 15

Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Гл. 1—14 17

Приложение II

Р.Е.Ф.Смит. Несколько слов об источниках романа Дж. Орвелла 91

Приложение III

Газета «Зодий»

